

А. И.  
ЭРТЕЛЬ

*Сочинения*



Александр Эртель  
**Волхонская барышня**

«Public Domain»

1883

## Эртель А. И.

Волхонская барышня / А. И. Эртель — «Public Domain», 1883

К созданию повести «Волхонская барышня» А. И. Эртель приступил после окончания книги «Записки степняка», принесшей ему широкую известность и привлечшей внимание критики. Воодушевленный успехом своей первой книги, Эртель, по его признанию, всего за три недели написал «Волхонскую барышню», работая над повестью с необычайным творческим подъемом. Ни старый владелец Волхонки, ни Мишель Облепищев не камер-юнкеры, но каждый из них, на свой лад, «пропитан культурой». «Романтиком-революционером» предстает в глазах Вареньки Волхонской Илья Тутолмин. Девушка из дворянской семьи – главная героиня повести.

## Содержание

I	5
II	10
III	14
IV	17
V	22
VI	25
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# Александр Иванович Эртель

## Волхонская барышня

*Кто виноват – у судьбы не допросишься,  
Да и не все ли равно?..*  
**Н. Некрасов.**

### I

...– Говори ты, пожалуйста, повнятнее... повразумительней говори!

– Да я ведь и то... Ты слухай:

Уж я рада бы коня переняла, —  
это она, то ись, ему говорит —  
Повиликой у коня ноги спутанные...

– Что за повилика такая?

– Это вроде как трава такая есть: повитель.

– Ну, ну...

– «Повиликой у коня ноги спутанные»,

Студеной росой возмоченные...  
Возмочили горючи слезы,  
Обуяла, что печаль-тоска,  
Со всего ли света вольного...

– Что, что? Прошу я тебя, повнятнее.

– «Возмочили горючи слезы»...

– Да что за бессмыслица такая! Ведь речь о коне идет?

– Так.

– У коня и ноги спутаны, и росой возмочены... Дальше: при чем тут «горючи слезы»?

При чем?

– Из песни слева не выкинешь.

– Нет, ты мне скажи, при чем тут тоска-то эта у вас, а? Ах, ироды, ироды – присочинили!

Такой разговор происходил в поле, близ деревни Волхонки, Воронежской губернии. Вопросы задавал человек в оленьей дохе, забрызганный грязью, желтый, худой, на вид лет тридцати пяти, с русой бородкой и тихим взглядом голубых несколько мутноватых глаз. Он сидел в обыкновенной ямской тележке и записывал что-то в большую памятную книжку, развернутую на коленях. Ответы давал малый средних лет, бойкий, с лицом полным и ясным и с постоянной усмешкой плутоватого свойства. Он небрежно правил парой серых коней, изредка постегивая их кнутиком.

Был апрель в начале, и дорога, по которой ехали путники, была убийственна. Оттого-то они и ехали шагом. В глубоких колеях то и дело плескалась вода, и рыхлая грязь смачно шлепалась под копытами лошадей. Иногда в колеях попадались рытвины. Тогда тележка быстро наклонялась в одну сторону и с тяжелым треском вскакивала, подкидывая путешественников; и ямщик произносил крепкое словцо, а барин неприязненно шурил физиономию. С широких

полей несло свежестью. По лощинам там и сям белелся снег, окаймленный темноватой полоской льда. Но небо было ясно, и жаворонки радостно трепетали в теплой синеве.

– Ну, ладно, – сказал барин, – записал! Четвертак за мной. Теперь скажи ты мне, какие у вас модные есть, новейшие, собственного изделия? – спросил он, насмешливо искривляя губы, и перевернул страничку в записной книжке.

– Да какие есть... – в недоумении ответил ямщик и слегка стегнул пристяжную, выразившую желание укунить смиренного коренника. – Есть разные песни... – он усмехнулся. – Пиши эту:

За рекою кобель бреша,  
А мой милка кудри чеша  
За рекою кобель воя,  
А мой милка кудри моя..  
Проводила б за реку  
Не пришел б он до веку  
Давай, милка, пострадаем.

– Фу-ты, гадость какая! – произнес барин, брезгливо выпячивая нижнюю губу, однако же стал записывать песню. А то вот, еще насчет ополченцев есть песня, – ска зал ямщик, приходя все в более и более веселое настроение. Барин снова перевернул страничку и приготовился записывать.

– Ну, ополченцы... – вымолвил он в ожидании. Ямщик откашлянулся и начал:

Ох, мамаша, ополченцы!  
Ох, мамаша, запри сенцы!  
Они – ребята молодые,  
На них кольца золотые...  
Через эти полсапожки  
Перебили все окошки...

– Стой, стой! С какого дьявола взялись тут полсапожки...

– А уж это из песни, барин...

– Ну, ладно, ладно, – сердито закричал барин и сквозь зубы произнес: – Сочинители! Ямщик ухмыльнулся и продолжал:

Перебили все окошки...  
Ох, угнали на минуту —  
Остаюся без приюту.  
Продам юбку и корсетку,  
Куплю милому жилетку.  
Продам юбку с полосами.  
Куплю дудку с голосами...  
Ох, в избе мне не сидится  
Пущай милка веселится...

а уж это, к примеру, *он* ей говорит:

Продам сяртук, продам брюки.  
Куплю милке платок в руки...

а *она* ему, шельма, в ответ:

Продам ленту из косы.  
Куплю милке я часы..

а *он ей* замест того:

Ох, колечко рупь пятнадцать.  
Моей милке лет семнадцать.

Вдруг пристяжная споткнулась и залепила седоков грязью. Ямщику попало в нос, барину в губы, а на записной книжке оказалось толстое и жирное пятно. Барин нетерпеливо стер это пятно рукавом шубы и перевернул свежую страницу. Но ямщик рассердился. Он натянул вожжи и вскрикнув: «Ах вы, окаянные!» – принялся нажаривать лошадей кнутом. Тележка заскрипела, колеса заныряли по рытвинам, мелкие брызги грязной воды и тяжелые комья густой грязи запрыгали и затолклись вокруг тележки, и барин спрятал книжку. Но, немного посидев, он как будто вспомнил что-то: прикоснувшись длинными и худыми своими пальцами к широкой спине ямщика, он закричал: «Так межничков, говоришь, не бывает у вас?» Но ямщик только головой тряхнул на это, как будто отмахнулся от назойливого комара, и вlepил коренному хороший удар пониже седёлки. Тогда барин ухватился руками за края тележки и, удерживая равновесие, стал смотреть по сторонам.

Однообразная даль, резкой и скучной чертою замыкавшая пустынную равнину, раздвинулась и закурилась синим туманом. Местность избороздилась холмистыми очертаниями. Там и сям покраснели кусты. За кустами засквозила речка холодным голубым блеском. Впереди ясно и жарко загорелся крест, до половины заслоненный возвышенностью.

– Волхонка! – произнес ямщик и решительно опустил вожжи. Лошади пошли шагом.

– Волхонка? – с любопытством спросил барин. – Где Волхонка?

– А вон видишь, церковь-то? Там и есть Волхонка! Вот на горку въедем, как на ладони будет. – И, внезапно оборотившись, спросил: – Да ты разве впервой к нам?

– В первый.

– Тэ-эк-с. Вы к кому же, например, к барину, али как?

– К управляющему в гости еду.

– Это к Захар Иванычу! – с оживлением произнес ямщик и, вдруг переполнив тон свой явным недоумением, добавил: Чуден он!

– Чем же чуден?

Но ямщик только покачал головою и усмехнулся.

– А как тебя звать? – спросил барин. – Ты ходи ко мне. Я тебе буду рад. Я все лето здесь проживу. И песни ежели есть какие – я по гривеннику за песню буду давать.

– Что ж, это мы можем, – сказал ямщик, – мы вашей милости послужим. Мокеем меня зовут.

– Мокеем? Ну ладно. А меня Ильей Петровым кличут. Ты ходи ко мне, Мокей. И ежели передел у вас по весне будет – ты мне скажи: я ваши порядки охоч посмотреть. – Илья Петрович сделал ударение на слове «охоч».

– Так чем же чуден-то Захар Иваныч? Грабит, что ль, он вас? – спросил он после некоторого молчания.

– Зачем грабить! Насчет грабежа у нас не полагается. А вот насчет машин больно уж он чуден. Машины всякие заводит. Вот ноне по осени каких одров приволок: вроде как черти какие!.. Сами, на своих колесах припёрли...

– Какие же такие?

– А шут их... Самовар не самовар, орет – как леший... Пашут, говорят. Только выстроил он им сарайчик, Захар-то Иваныч, они и стоят в сарайчике. Здоровенные одры!

Илья Петрович насмешливо улыбнулся и произнес сквозь зубы:

– Эх, буржуй, буржуй!

Ямщик помолчал, помолчал и вдруг прыснул.

– А то вот сеялки еще завел, – сказал он, – ты сидишь на ней, а под тобой сыпется... Чудеса!

– Что ж, это ведь не плохо.

– С чего плохо!.. Разве мы говорим... Деньги-то не наши, барские.

– Кто же у него работает на этих машинах?

– Находятся такие, – с пренебрежением вымолвил ямщик, – промотается ежели какой, добьется – жрать ему нечего, ну и прет к Захар Иванычу. Хороший не пойдет.

– Отчего же не пойдет хороший, – разве кормят плохо?

– Куда тебе плохо. Кажинный день убоину лопают, идола! Да еще что: я как-то в пятницу зашел в застольную, а они молочище трескают! Ах, пусто бы вам!.. Ну, и хватыры у них – ничего себе, чистые хватыры: иная вроде как горница, например.

По мере Мокеева рассказа лицо Ильи Петровича все более и более просветлялось и насмешливая улыбка уступала место совершеннейшей радости.

– Так не идут к нему домохозяйные мужики! – воскликнул он с видом торжества.

– Кому охота в батраки запрягаться, – сказал ямщик. – Помесячно мы еще наймаемся: деньги зандобятся, и наймешься иной раз, а чтоб в батраки – нет, не наймаемся. Положенья у нас такого нет, чтоб в батраки удаляться.

– Так, так, – одобрительно произнес Илья Петрович, – молодцы! Так и храните свои старые порядки... Крестьянский ваш строй не в пример лучше батрацкого... Только вот песни у вас подлые, – добавил он с грустью.

Мокей подумал, хотел что-то ответить, но почесал концом кнутовища спину и ничего не ответил. А между тем тележка втащила на возвышенность. «Эге!» – сказал Илья Петрович и больше ничего не сказал, а заслонился ладонью от солнца и не отрываясь стал смотреть вдаль.

Волхонка действительно была видна отсюда как на ладони. Каменные флигеля надворных построек, высокая английская мельница, длинные конюшни и сараи – все это привольно раскинулось в долине и весело блистало красными и зелеными своими кровлями. Около усадьбы синело озеро и толпился громадный сад, переполненный хлопотливым грачиным шумом. В саду возвышался барский дом, неуклюжий как черепаха.

Нижее, – озеро замыкалось длиннейшей плотиной и двухъярусная мельница сквозила через голые ветлы, наполняя окрестность внушительным грохотом. За мельницей раскинулось село, с улицей черной как траурная лента и, вероятно, очень вязкой, потому что лошаденка с бочкой стояла среди нее в безнадежной неподвижности. В конце села белелась большая одноглавая церковь, протянувшая сквозную ограду свою к самому озеру. А за озером вставали холмы однообразными очертаниями, тянулись бурые поля, изнизанные лужами, сверкающими на солнце, краснели таловые кусты, круглые как шапки и насквозь пронизанные какою-то крепкой свежестью, а там, за кустами, синела и уходила без конца загадочная даль.

И чем больше смотрел на окрестность Илья Петрович, тем жутче и тревожней замирало его сердце. Все его существо напряглось широкими ожиданиями. Какое-то восторженное чувство непрерывными и дружными волнами подмывало его, перехватывало ему дыхание... Синяя даль дразнила загадочным своим трепетаньем. Песни жаворонков, тонким серебром стоявшие в высоте, и веселый птичий гам в долине, казалось, в нем самом будили какие-то звуки, добрые и крепкие, и наполняли всю его душу трезвой и ненасытной жадой жизни.

– Пошел, Мокей! – закричал он, вздыхая полной грудью.



Мокей поправил свою шапчонку, плюнул в руки, дернул вожжами, крикнул, и пара понеслась во все ноги к деревянному флигельку, приютившемуся около барского дома.

## II

– Тут и есть Захар Иваныч, – вымолвил ямщик, останавливая лошадей около крыльца. Илья Петрович вылез из тележки и, путаясь в своей дохе, поднялся на ступеньки. Дородная баба в ситцевом сарафане столкнулась с ним в дверях.

– Вам кого? – спросила она.

– Захара Иваныча.

– В поле он. Вы по какой части – купец, ай как?

– Ни по какой, – усмехаясь, ответил Илья Петрович. – я член географического общества. Баба в недоумевающем испуге поглядела на него.

– Бери поклажу-то, шалава! – закричал Мокей. – Видишь, к хозяину гость приехал. Ошалела, шалава!

Баба рванулась и побежала к тележке. А навстречу Илье Петровичу выскочил еще заспанный мальчик в нанковой поддевке и, уж без всяких расспросов, распахнул перед ним двери в комнаты. Сконфуженная баба суетливо выбирала из тележки вещи. Мокей подшучивал над ней: «Эх ты, макрида! К хозяину гость приехал, а она – „по какой части“! Погоди, он тебе еще покажет часть-то эту...» – «Видали!» – возражала баба. «Увидишь!» – подсмеивался ямщик и тут же спросил в скобках: «Солдатка, что ль?» – на что, однако, не получил ответа. Наконец баба захватила в одну руку подушку с узлом, а в другую небольшой парусинный саквояжик и спросила:

– Откуда ты его приволок?

– С полустанка, – ответил Мокей и добавил: – Говорит, все лето проживу.

Баба покачала головой и в задумчивости понесла поклажу.

Немного спустя мальчик вынес Мокею деньги и остановился около него в ожидании. «Все, что ль?» – спросил он, ковыряя в носу. Мокей помусолил зелененькую бумажку, пересчитал два раза серебряную мелочь, подумал и, вдруг рассмеявшись, вынул из пазухи кошелек. «Полтинник за песни прожертвовал!» – сказал он, старательно упрятывая деньги; а так как тут снова вышла баба в сарафане, то он снова не преминул подшутить над ней: «Погоди, узнаешь, по какой части!» – произнес он, ухмыляясь во всю бороду, и, пересев в задок тележки, направился в деревню. А баба долго стояла и смотрела ему вслед и думала о его ядовитых намеках. И вдруг с удовольствием улыбнулась и стала думать о госте. «Эка у него руки-то какие: белые-пребелые!» – вспомнила она и опять улыбнулась.

Илья Петрович умылся с помощью заспанного мальчика и, облачившись в куцее пальто, вышел на крыльцо. С крыльца вся усадьба была видна до мелочей. Было видно, как около конюшни гоняли на корде вороного жеребца и кучер мыл шарабан, ослепительно сверкавший на солнце лакированным своим щитом; как к одному из флигелей с тяжелым скрипением тащилась бочка; как к заднему крыльцу барского дома пробежал белоснежный повар, сжимая под мышкой медный противень... А в саду невыносимо кричали грачи и слышался непрерывный треск ломавшихся ветвей... Вдали гремела мельница.

И задумался Илья Петрович. Он вспомнил такую же весну и такой же гам грачиный и безоблачное небо, ласково распростертое над убогим уездным городком, затерянным в лесной глуши... И вдруг какая-то тоскливая полоса пробежала по нем смутным и неприятным веянием. Сердце как будто защипало. Так в ясный день неожиданная тучка внезапно заслоняет солнце и бросает сумрачную тень на золотое поле. Илья Петрович встал и тихо провел рукою по лицу. «Пойду-ка я в сад!» – для чего-то громко подумал он и спешно зашагал по направлению к саду.

Волхонский сад затеян был на широкую руку. Куртины яблонь часто перемежались в нем аллеями и рощами. По одной такой аллее Илья Петрович пошел к реке. Следы его ног

четко обозначались на влажной земле. Отовсюду доносился к нему раздражающий запах прелых листьев, земли и какой-то крепкой и холодной свежести. Дыхание его стеснялось этой свежестю и сердце билось в радостном и торопливом беспокойстве... А деревья стояли вокруг него и молчали в стыдливой истоме. Все в них как будто напряглось кротким и терпеливым ожиданием; и все говорило об этом ожидании: красноватые ветви березы, липа, свежая и влажная, нежные почки гибкой вербы... Разве что редкие дубы да сосны с их угрюмой зеленью пребывали равнодушны и с высокомерной величавостью взирали на мелкий люд, изнывавший в ожидании жизни.

Но река убегала от Ильи Петровича, и аллея коварными зигзагами уходила в сторону. Тогда он оглянулся. Голубой блеск воды там и сям сквозил чрез ольховую рощу. Он перешел поляну, усеянную молодыми яблонями, и попирая поблекшую траву, с легким шорохом принявшаю под его ногами, вступил в рощу. Птичий гам оглушил его. Он остановился среди купы громадных деревьев, унизанных грачиными гнездами, и прислушался. Непрестанный треск ветвей, тяжелый трепет крыльев, звонкое карканье на все тоны, начиная от пронзительного дисканта и кончая басом, хрипящим точно с перепоя, – вся эта бестолковая и поспешная суетня как-то назойливо и весело раздражала его нервы. Он чувствовал, что в нем закипают какие-то порывы и неудержимо встает потребность движения. И он пошел по роще, весь охваченный этими порывами и счастливый, как ребенок. В вышине с тонким и жадным писком кружился копчик. Под ногами ломались крепкие сучки, оброненные грачами, и мягко шелестели влажные листья. Голубой блеск реки сквозил чаще и беспрестанно ширился.

Вдруг силуэт оседланной лошади ясно и резко обозначился сквозь деревья. «Вот чёрт!..» – невольно воскликнул Илья Петрович и вышел из рощи. А на его восклицание раздалось легкое: «Ах!» Тогда Илья Петрович в смущении оглянулся. Перед ним узкой и желтоватой полосой тянулся берег, дальше синело озеро, усеянное островами и бурыми купами камыша, а на берегу стояла барыня в синей суконной амазонке. Илья Петрович хотел было снова возвратиться в рощу и даже сделал уже шаг назад, но было поздно: барыня его заметила и двинулась к нему навстречу. Тогда и Илья Петрович быстро посмотрел на нее. Барыня скорее была девушка: любая маменька семерых дочерей-невест не дала бы ей более девятнадцати лет. И лицо этой девушки, бледное и надменное, понравилось Илье Петровичу. Но, впрочем, он опустил глаза, когда она скользнула по нем пристальным и блестящим взглядом. Он заметил только, что она с рассеянностью усмехнулась.

– Не можете ли вы помочь мне сесть на лошадь? – сказала она.

Он неуклюже наклонил голову в знак согласия и подошел к ней. Она погладила лошадь – великолепную караковую кобылу с звездой на лбу, подозрительно шевельнувшую ушами при приближении Ильи Петровича, и ловким движением вскочила на седло. Илья Петрович почти не почувствовал тяжести на той руке, которой предупредительно поддержал барышню; он только почувствовал необычайно приятное ощущение теплоты, внезапно охватившей его тихими и мягкими волнами, да еще то, что лицо его нестерпимо запылало.

– Ну, теперь давайте знакомиться, – шаловливо произнесла барышня, подтягивая повод и оправляя на лошади спутавшуюся гриву. – Вы ведь, конечно, приезжий? И, конечно, интеллигент? А я здешняя... и совсем первобытная. Я – Варвара Алексеевна Волхонская.

Илье Петровичу почему-то ужасно понравился комический характер представления. Он мгновенно, же перестал краснеть и приподнял смешную свою шапочку петербургского фасона.

– Член географического общества и к тому же сочинитель-с – Илья Петрович Тутолмин! – отчеканил он.

– Ах, господин Тутолмин! – воскликнула барышня и сконфузилась. – Вас еще ждал Захар Иванович... Простите, пожалуйста!..

– В чем же-с?

– Да как же!.. Ах я какая!.. Ведь вы сочинитель – ведь с вами как надо: *tiré à quatre épingles*...<sup>1</sup> – и насмешливая струнка снова зазвенела в ее тоне.

Тутолмин поклонился.

А лицо барышни являло вид явного возбуждения. Матовая бледность сменилась в нем каким-то теплым и привлекательным румянцем, который Илья Петрович мог бы принять за легкий загар, если бы дело происходило в июле.

– Ах, вам непременно будет скучно в Волхонке!.. – зашебетала барышня. – Эта Волхонка такая несчастная... Вы знаете – здесь ни общества, ни развлечений... И притом, вообще-то провинция мила! Куда ни посмотрите: дичь какая-то, рутина!.. Но вы, конечно, часто будете бывать у нас? Я буду очень, очень рада. И папа будет рад. И вы, пожалуйста, без церемонии!

«Эге!» – подумал Илья Петрович, но сказать ничего не сказал, а только обидно поглядел на барышню. И та как будто поняла этот взгляд. Она надменно искривила губки, сухо кивнула Тутолмину головкой своей, увенчанной красивой широкополой шляпой, и тихо тронула лошадь... Но ее глубокие глаза не потеряли своей живости и с лица не сходило возбуждение.

А Тутолмин после ее отъезда выругался и стал упорно смотреть вдаль. Но в душу его уже не сходили поэтические впечатления, и только какое-то сухое и скучное недовольство обнимало ее. «И за каким дьяволом наболтала чепухи! – с досадою думал он. – „Рутинка“!.. Сами-то вы каковы – поглядеть на вас... Просветители! Либералы!» – и тут же, неприязненно крикнув, возвратился в усадьбу.

Там его дождался Захар Иванович. Разрезая последний номер «Земледельческой газеты», он сидел за стаканом остывшего чая и от времени до времени поглядывал на дверь. Он с нетерпением ждал Тутолмина. А странное дело, – между ними почти не было так называемых точек соприкосновения. Один был чистокровный агроном и без засоса не вспоминал о своем путешествии в Бельгию. Другой – не то что не любил – презирал агрономию, а с нею, нечего греха таить, и всевозможные Бельгии на свете... Один благоговел перед Марксом с его законами «Гегелевой триады», другой – не выносил его за известную насмешечку над миссией русской общины и, когда дело касалось будущего России, яростно доказывал несостоятельность его законов. Но, главное-то, вот какая была между ними разница. Тутолмин был по преимуществу человек «принципиальный», некоторые находили: даже до излишества. За густой сетью «принципов» жизнь в большинстве проходила перед ним рядом смутных и тенденциозных картин и непрерывно терзала его нервы, разливала в нем желчь... Захар Иванович выше всего ставил практику и обыкновенное житейское дело; и в это дело уходил по самые уши. Оно его увлекало помимо своих принципов, – иногда одной формой, одними подробностями своими увлекало. Правда, в агрономию он ударился из-за принципа. Но чуть только пробштейнская рожь да суперфосфатное удобрение открыли перед ним свои таинства – он впился в них, как клещ (простите за вульгарное сравнение!), и всевозможные принципы отступили у него на задний двор. Редко, редко, в споре с каким-нибудь приятелем-«народником», он с обычной своей ужимкой проворного и мягкого медвежонка вытаскивал эти «принципы» на свет божий и утомлял свою память настойчивым повторением «непогрешимых» аргументов «Капитала».

И, понятно, Илье Петровичу, более чем кому-либо, доводилось расшевеливать ленивые Захар-Иванычевы мозги и заставлять его обметать пыль с богов, бездейственно занимавших позицию. Илье Петровичу доводилось даже вводить во гнев Захара Ивановича, а это было делом почти беспримерным. И, однако же, они любили друг друга.

Впрочем, не слишком ли я отступил от рассказа и не заставил ли приятелей провести время в неловком ожидании летописца? *Поспешим.*

– Что, буржуй, донкихотствуешь все! – ехидно замечал Тутолмин, дружески хлопая Захара Ивановича по колену.

---

<sup>1</sup> быть одетым с иголки (франц.).

Но Захар Иваныч глотал чай и добродушно улыбался. Человечек он был толстенький и наружностью нисколько не походил на злополучного рыцаря из Ламанчи.

– Слыхали! – не унимался Илья Петрович. – Мужички за блаженного считают... Добился!

– Ну, уж и за блаженного.

– А ты как думал? Ты думал «поклонимся и припадем» запоют? Нет, врешь. Ты вот «убоиной» их смущаешь, а они жрут себе мякину да в ус не дуют. Попрыгай-ка с ними!..

Но Захару Иванычу решительно не хотелось спорить. Ему так приятно было сидеть в своем креслице, обтянутом скромной холстинкой, и смаковать душистый сладкий чай, и смотреть на нервное и худое лицо милого человека...

– Ну вот еще... Образумятся, – мягко возразил он.

Но такое уклончивое отношение Захара Иваныча к «принципам» как будто раздражало Илью Петровича. Он вдруг выпил залпом свой стакан и произнес с видом плохо скрываемого торжества:

– Да уж песенка ваша спета, Буржуй Буржуевич!.. Журнальцы читаете-с? Али не употребляете окромя сих злаков? – Он ткнул пальцем в развернутый лист «Земледельческой газеты». – А коли употребляете – нечего вам и упорство свое оказывать: продавайте вы на слом свои машинки и ступайте мужиковым ребятишкам сопли утирать!

– Это почему же? – в некоторой обиде спросил Захар Иваныч.

– А, значит, не употребляете! Так и знал... А напрасно-с. Хорошие там есть статейки за последнее время. – И вдруг со смехом воскликнул: – Друг! Ведь Марксу-то твоему карачун во всех статьях!..

Но только что Захар Иваныч, внезапно вошедший в задор, хотел ополчиться на эту ересь, как в дверях появился гладко обритый и суровый человек в кашемировом сюртуке и важно доложил:

– Алексей Борисыч изволят просить вас с гостем чаю откушать.

### III

– Что это ты, Варя, какая странная? – заметил Алексей Борисович Волхонский, когда Варвара Алексеевна, возвратившись с прогулки, вышла к нему в кабинет. И действительно, она могла показаться странной. Возбуждение не покинуло ее. Вся она была еще полна впечатлением недавней встречи. Она еще не забыла ни обидного взгляда, брошенного, на нее Тутолминым, ни то, что он назвался «сочинителем». Ей казалось, что в ее жизнь, серую и однообразную, дерзкой и дразнящей полосой ворвался светлый луч. А между тем она не помнила лица Ильи Петровича и не могла бы сказать, какого цвета его волосы. Она помнила только, что этот человек внес с собой какое-то чувство свежести и новизны и обыкновенную пятницу превратил для нее в интересный праздник.

– Ах, папа, как ты мил сегодня! – воскликнула она в ответ на замечание Алексея Борисовича и шаловливо спутала его косматую шевелюру. – Ты опять со своими противными гравюрами?

Алексей Борисович тихо отстранил ее.

– Вот ты и институт миновала, а приобрела это институтское словечко: «противный», – с мягкой насмешливостью сказал он.

– А ты забываешь, что у нас «дамы» были из института! – возразила дочь и добавила: – Опять от Гупиля?

Алексей Борисович оживился.

– И на этот раз премилые. Ты посмотри-ка вот, с картины Мейссонье... Или Коро... Посмотри, какая прелесть! Как хороши эти вязы!.. Или эта, – это Руже-де-Лиль; не знаешь? Ах, я и забыл, что в гимназии этого не полагается. – Он снова улыбнулся насмешливо. – Это автор марсельезы, m-ile a Марсельеза!..

– Да знаю, знаю, уж замолчи, – с неудовольствием перебила Варя и затем, отстранив осторожным движением руки гравюры, села на ручку кресла. – Ты знаешь, – сказала она с видом кокетливого испуга, – к Захару Ивановичу гость приехал, и, представь себе, сочинитель!

– Ну? – вопросительно произнес отец.

– Как «ну»... Надо пригласить его.

– Приглашай.

– Ах, какой ты, папа...

Алексей Борисович снова усмехнулся.

– Так не прикажешь ли ты благоговеть мне пред твоим сочинителем, – вымолвил он. – Да я и не помню такого... Как бишь его?

– Тутолмин, папа, Илья Петрович Тутолмин.

– Не помню. Ивана Сергеевича Тургенева помню, и Аполлона Николаевича Майкова помню, а такого не помню.

Варя медленно отшатнулась от отца.

– Злой ты, папа, – сказала она с упреком, – к чему это? Ведь это же молодой писатель.

– Ну, хорошо, хорошо, – поспешно произнес Алексей Борисович и поцеловал руку Вари, – Конечно, не то, – то было время, теперь другое... Прости. Это, вероятно, новые птицы. Зови, зови их.

Варя пожала плечами и вышла из кабинета. «Какой странный этот папа», – подумала она, но тотчас же вспомнила сцену за рощей и улыбнулась. И вдруг почему-то ей стало очень весело. Она быстро вбежала наверх, в свою комнату, и, напевая, подошла к окну. Оттуда был виден сад и чернелась ольховая роща.

Вслед за Варей вошла степенная женщина в белоснежном переднике и с выражением строгого достоинства в красивом, хотя и пожилом лице. «Изволите переодеваться?» – спро-

сила она. «Надя, нельзя ли нам, голубушка, раму выставить! Ведь это так легко...» – сказала Варя и ласково заглянула в лицо Надежды. Та несколько подумала, но спустя немного принесла клещи и поварской нож и, по-прежнему сохраняя вид непоколебимой сановитости, очень ловко вынула и унесла зимнюю раму. Тогда Варя распахнула окно. Шумный птичий гам вместе со свежей и пахучей струей воздуха стремительно ворвался в комнату... Варя отшатнулась с легким криком, но затем тотчас же жадно вздохнула и приникла к окну. Какая-то радостная тревога охватила ее. Сердце билось порывисто и сладко... Вся она как будто застыла и замерла в чуткой неподвижности. Она ни о чем не думала, она только отдавалась наплыву каких-то грез, легких и таинственных как видения, да слушала, да смотрела, смотрела неотступно...

А смотреть было на что. Солнце садилось, и за голыми деревьями сада жарко догорала заря. Иногда над этими деревьями взлетали грачи, и кружились небольшими стадами, и черными пятнами пестрили небо. Широкое озеро важно покоилось среди островов и неподвижных камышей, ясно отражая в своей пламенеющей поверхности и эти острова, и купы камыша, залитого розовым светом зари, и холмистые очертания того берега. В высоком небе красиво рдели золотые полосы. Дали раздвинулись, и необозримая линия западного горизонта незаметно утопала в горячем блеске заката. В прозрачном воздухе, чутком и неподвижном, неустанно раздавались звуки. Нестройное карканье грачей и запоздалый писк копчика, ретивое ржание лошади и непрерывный грохот снастей на водяной мельнице – все сливалось в одном бодром и хлопотливом концерте.

– Скоро ли, барышня, одеваться будете? – в некотором нетерпении спросила Надежда, и Варя очнулась. Украдкой провела она ладонью по глазам (они были влажны и туманны), медленно и глубоко вздохнула, как бы упиваясь острым и прохладным воздухом, и в тихой задумчивости затворила окно.

Но чрез несколько минут она снова вспомнила встречу свою с Тутолминым. Какое-то беспокойное нетерпение загорелось в ней. И почему-то обидный его взгляд опять ей припомнился. «Погоди же!» – громко сказала она и долго обдумывала, какое надеть ей платье: синее ли из тяжелой французской вигони или серое, которое отец недавно выписал ей от monsieur Ворта. А остановившись на синем, она долго примеряла рюш и долго смотрела в трюмо, хорошо ли оттеняет этот рюш изящную бледность ее лица. И, вероятно, результаты примеривания в конце концов полюбились ей: губки ее сложились в гордую и самодовольную улыбку и в темных глазах промелькнул радостный блеск.

Тогда она снова подошла к окну, за которым медленно погасала заря. Но теперь она уже не распахнула окна, – она вспомнила, что можно простудиться и схватить бронхит, – но достала из своего столика тетрадку и при слабом мерцании зари стала переписывать в нее стихи из толстой книги, переплетенной в бархат. А когда переписала – прочитала их с довольным видом и снова спрятала тетрадку. И опять долго стояла у окна и мечтательно смотрела на окрестность.

Алексей Борисович по уходе Вари не прикоснулся к гравюрам. Он встал и в задумчивости начал ходить по комнате. В широкие окна кабинета тоже смотрелась заря. Тихим и ровным румянцем заполняла она стены, увешанные гравюрами, и бойкими пятнами светилась на бронзовых лапах грифов, поддерживавших тяжелые портьеры. Смеркалось. Углы кабинета раздвигались и отступали в темноту. Силуэт амура на каминных часах работы Шопена делался мрачным и явственно отделился от зеркала. А Алексей Борисович все ходил и задумчиво поглаживал пышную свою бороду, насквозь пронизанную серебристой сединою. Смутная тень однообразно следовала за ним, достигая головой лепного потолка и медлительно колеблясь. Наконец Алексей Борисович остановился и посмотрел на потухающий запад. «Сочинители!» – с печальной укоризною произнес он, и горькие воспоминания в нем шевельнулись... Он вспомнил, как в конце пятидесятых годов весьма приличный молодой человек в сюртуке от Шармера и с ленточкой иностранного ордена в петлице бродил из одной редакции в другую с шикарным портфелем под мышкой. И в каждой редакции из портфеля выгружалась объемистая руко-

пись, и каждые три месяца рукопись эта с холодной улыбкою возвращалась весьма приличному молодому человеку и снова погружалась в шикарную портфельку. О, сколько тайных мук вынес весьма приличный молодой человек и какая закипала в нем ненависть к людям с вечной улыбкой на устах и с вечным припевом: «Неудобно для печати!» Как бы охотно он наговорил дерзостей этим людям и с каким бы торжеством посмотрел на их лица, смущенные скверной неожиданностью. Но он был весьма приличный молодой человек и, получая обратно несчастную свою рукопись, только вздыхал и в недоумении пожимал плечами. Зато впоследствии, за границей, куда удалился он на время крестьянской реформы, с каким злорадством встретил он вести о невзгодах, постигших журналы, отринувшие его труд, и с какою живостью представлял себе благополучные лица редакторов, обезображенные неутешной скорбью... Этот молодой человек был Алексей Борисович Волхонский.

«И все-то мне не удавалось!» – грустно подумал он, примечая, как сумрачные тени ложились на холмы того берега и в небе зажигались звезды. И снова вспомнил надоедливую вереницу скучных картин. Вспомнил, как беспутно прожил он выкупные свидетельства в этих беспутных венецианских лагунах... Вспомнил, как женился он и жестоко мучил простушку-жену своей артистической требовательностью. Вспомнил свои неудачи с рабочими, выписанными из Саксонии, и свои наивные подвиги в качестве сельского хозяина... И тут смиренный Захар Иваныч предстал пред ним. «Как это хорошо!» – прошептал Волхонский. Захар Иваныч явился в самую пикантную минуту: Алексею Борисовичу опротивело хозяйство, и приближался срок уплаты процентов в общество взаимного поземельного кредита. Захар Иваныч все сделал: непостижимой своей оборотливостью он отстранил кризис и освободил Волхонского от несносных занятий... И теперь Алексей Борисович вступил в тихую и спокойную струю. Он удалился в великолепный свой кабинет, окружил себя кипсэками и журналами, приобрел творения Каррьера и Куглера, обременил заказами Гупиля в Париже и Дациаро в Петербурге и почил... Правда, вот уж скоро семь месяцев, как дочь окончила гимназию и непрерывным щебетаньем своим нарушает ленивый порядок дома. Но ему нравится это шаловливое и благородное существо. С его появлением дни как будто сделались короче и строгая кабинетная тишина прониклась какими-то ласковыми тонами. И притом это появление не принесло ему особых забот. Он, слава богу, не рутинер! Он понимает, что свобода (*liberté*, – перевел он внутренне) – первое условие порядка, и никогда не задумается он над тем, чтобы в щедрой дозе наградить Варю этой свободой. Он враг стеснений. Недаром в салонах его и теперь считают неисправимым фрондером... И он опять вспомнил свои неудачи в прогрессивных кружках конца пятидесятих годов. «Отчего бы?» – подумал он в недоумении. И вдруг вспомнил о новом знакомстве дочери. «Сочинители! – с горечью повторил он и затем добавил с иронией: – Умеет ли грамоте!» Но после этого выпрямился и, как будто совершая какой-то долг, дернул сонетку.

– Пригласи, Степан Степаныч, Захар Иваныча чай кушать и скажи, что просят, мол, с гостем пожаловать, – приказал он гладко обритому и суровому человеку в кашемировом сюртуке, быстро и неслышно явившемуся на зов.



## IV

Чай пили в маленькой столовой. При входе в эту столовую Илья Петрович не мог победить в себе некоторой неловкости и все запахивал левую полу своего сюртука, приобретенного на Апраксиной. Ему все казалось, «галантные» хозяева заметят предательское пятно, изображенное на этой поле жирными щами палкинского трактира, съеденными в честь первого его очерка «из народного быта». Но он скоро оправился, и когда сел, даже позволил себе свободно протянуть ноги. Захар Иванович держал себя домашним человеком: он и явился-то сюда в высоких полевых сапогах. Волхонский в своем бархатном пиджаке и белоснежных воротничках à la Delavaг несколько модничал; густые кудри его седой головы были расчесаны с особенной тщательностью. Наливала чай все та же строгая Надежда. Варя сидела в глубоком кресле и медленно мочила в крошечной чашечке крошечный кусочек бисквита. При входе Ильи Петровича она незаметно скользнула по нем взглядом и, видимо, осталась недовольна: в своем отвратительном сюртуке, с воротником, отставшим от шеи на добрую четверть, со своими вечными поползновениями спрятать куда-то руки, окаймленные смятыми манжетами, он был куда как не презентабелен. А тут еще нелегкая догадала его, умываясь, смочить редкие волосенки свои и провести в них ряд!.. Нет, он совсем был неинтересен. Зато после третьего стакана он заметил Варю и нашел ее очень привлекательной. И, пожалуй, был прав. В матовом свете лампы лицо девушки выгодно выделялось тонкими и нежными своими чертами, и горделивая улыбка особенно шла к смелому и красивому очертанию ее губ. И когда Илье Петровичу налили четвертый стакан, он не утерпел, чтоб еще не взглянуть на девушку. И такой грациозной показалась она ему в своем темном платье, ниспадавшем по ней тяжелыми складками! Ему даже понравились руки ее, мягкие и белые как снег, и эти изящные пальчики, с осторожностью державшие кусочек бисквита...

Алексей Борисович обратился к нему с вопросом:

– Петербург, по своему обычаю, смешит Европу? – сказал он.

– То есть как это? – в недоумении произнес Тутолмин и моментально же забыл о барышне. – Я думаю, что в Петербурге только и хорошего есть, что это игнорирование Европы. Мы ее смешили, как крестьянам землю давали, мы и милютинскими мероприятиями ее смешили... Она всему смеется. Чего нам ее не смешить-то?

Волхонский поднял брови.

– Я имею честь говорить с славянофилом? – спросил он.

– Вот уж нет, – бесцеремонно ответил Илья Петрович и вдруг спохватился. – А впрочем, клички эти чудны, – вымолвил он, – другая так тебя запутает – ты точно мужик в вяхире...

– Что такое «вяхирь»? – прервала его Варя.

Отец затруднился ответом. Илья Петрович досадливо сморщил брови и сердито произнес:

– Сеть из бечевок. Мужики в дорогу сено берут... Что же вы величаете славянофильством? – обратился он к Волхонскому.

– А умиление перед сарафаном, восторги по поводу подблюдной песни и тому подобной ветоши...

Тутолмин порывисто поставил стакан и выпрямился.

– Да-с, – сказал он резко, – перед сарафаном не умиляемся, а самобытность ценим крепко. Песню чтим, ибо в ней поэзия и следы мирозерцания, не отравленного вашей, с позволения сказать, цивилизацией.

– Поэзия? – прищурившись, произнес Волхонский и с деланным смирением добавил: – А впрочем, я не знаю, о какой поэзии вы говорите. Ведь господин Писарев, кажется упразднил поэзию.

– Вы плохо следите за литературой. Писаревским увлечениям был предел. То уже старое время, – сказал Тутолмин.

– Не уследишь, – с тонкой улыбкой возразил старик. – Я стар, а новизна поспешна и суетлива. Но мне приятно узнать, что в глазах молодежи поэзия снова реставрируется (Илья Петрович притер к стакану). Но какая же поэзия в ваших песнях и вообще в так называемом народном творчестве? (Экое громкое слово, подумаешь!) Извините меня, но не могу скрыть: это не поэзия, а недоразумение одно. Qui pro quo<sup>2</sup>. Возьмите в пример сказки: что глупей и бессодержательней, – простите... Вечный Иван-царевич и вечный deus ex machina<sup>3</sup> в лице какой-нибудь шапки-невидимки, палки-дубинки и тому подобной дребедени. Богатства замысла, поэтических подробностей, – не спрашивайте. Возьмите вы братьев Гриммов и нашего Афанасьева с одной стороны, какая-то привлекательная загадочность, тонкий и здоровый юмор, кропотливая постройка замысловатых подробностей, ясное отражение быта и мирозерцания; с другой – юмор, если и здоровый, то в смысле дубины, подробности – аляповаты и наивны до приторности, содержание бедно. Я раз в одной российской сказке, – я не про земское положение говорю, – сосчитал слово «опять». Представьте, тридцать пять раз повторялось это слово! Ровно тридцать пять. И все соединяло – известную подробность с другой известной подробностью, избитое происшествие с другим избитым... А тенденции! Дурак побивает умного в силу выпретенных наитий каких-то – за дурака и бог, и добрые люди, – и это беспрерывно. Ну потешь дурака, да знай же и честь. Дальше. Какой-нибудь ловкий прохвост и заведомый каналья героем объявляется!.. Забавой, кроме мерзостей да холопского послушания в виде единственной добродетели, ничего не признается... Помилуйте-с!.. А это еще вопрос, почему «людскую моль да конский топ» я за поэзию должен признавать... Может, оно еще и не поэзия... Пушкин-то и ошибиться мог: ведь недаром Мери́ме на славянских песнях-то его поддел... – И Волхонский вдруг как бы спохватился. – Впрочем, что же это я о Пушкине... – проговорил он виноватым тоном.

А Тутолмин переживал странное состояние. С первых слов Волхонского о русских сказках в нем закипела жестокая злоба к этому эффектному барищу, так покойно развалившемуся в своих мягких креслах. Но по мере того как Волхонский говорил, злоба эта пропадала и сменялась каким-то холодным и надоедливым ощущением скуки. Он вяло и уже без малейшего раздражения следил за желчными выходками Алексея Борисовича, и когда тот кончил, только для приличия возразил ему:

– Но песни...

– Ах, песни! – живо подхватил Волхонский, возбужденный собственным своим красноречием. – Ну конечно, как не быть поэзии в русской народной песне. Брызжет!.. «Во ракитовом кусточке лежал-потягался молодчик»... Так, кажется? («И охота ему ломаться!» – думал Илья Петрович). Или: «Не белы-то снега в поле забелелися, – забелелись у мово милова белокаменны палаты», в которых какие-то «писаря» что-то пишут... Или: «Как по матушке по Волге сподымалася невзгодушка», и в косной лодочке подплывал «ко Татьянину подворью» целый гардероб в образе камзола, штанов и прочего скарба («Pardon, Варя!» – произнес он в скобках). Бог с вами, какая же это поэзия!.. Это смех, это, если хотите, лепет ребяческий, а отнюдь не поэзия. А приемы! А этот вечный и часто совершенно нерезонный переход от какой-нибудь ивушка к девке, у которой «ненароком» развязалась оборка у лаптя!.. Или, может быть, скажете, что в образах, в оборотах речи ваши песни прыщут поэзией?.. А я вот не понимаю этого. Я не понимаю, почему выражение: «снежки белы лопушисты – именно „лопушисты“ – покрывали все поля, одно поле не покрыто – поле батюшки мово», почему это выражение поэтичнее, хотя бы такого:

<sup>2</sup> Одно вместо другого (лат.) путаница.

<sup>3</sup> бог из машины (лат.) – непредвиденная развязка.

И ты богиня, о  
Я шел деревню чрез, —  
Мужик несет вино,  
В жилище крыши без...

Все засмеялись, а Тутолмин снова подумал: «И чего он ломается?»

– А возьмите изображения ваших песен, – с пущим жаром продолжал Волхонский, – возьмите ихние идеалы. Вот герой, пользующийся явным сочувствием песни: «Чисто, шепетко по городу погуливает, он енотову шубенку за рукав ее тащит (каков!), бел персидский кушачок во белых руках несет; черна шляпа с подлиманом (вы не знаете, что это за штука такая?), черна шляпа с подлиманом на русских кудрях его...» Хорош гусь! – И пренебрежительно добавил: – Нашли поэзию!

– Видите ли, какая она штука, – совершенно спокойно сказал Илья Петрович, – спорить нам бесполезно: между нами органическое непонимание. Вы говорите про Фому, я – про Ерему.

Варя незаметно кивнула головою.

– Но помилуйте, – несколько обидевшись, возразил Волхонский, – я ведь знаю, что на свете есть логика.

– В том-то и дело, что логика-то у нас разная. Ну к чему поведет, если я буду вам говорить, что трудно себе представить более поэтичный оборот, как этот: «Не шуми ты, мати, зелена дубравушка, не мешай мне молодцу думу думати», и что вообще вся эта песня насквозь проникнута великолепнейшей образностью и строгой величавостью тона... Вы скажете, что любой сонетик Пушкина перещеголяет эту песню.

– А эта песня приведена у Пушкина! – живо произнесла Варя.

– Ей-богу, не помню-с, – может, и приведена, – небрежно проронил Тутолмин.

– В «Капитанской дочке», – напонила Варя.

– Ей-богу, не помню-с, – упрямо повторил Илья Петрович.

– Ах, какая прелестная песня, папа! – воскликнула девушка. – Ты не поверишь, до чего она делает впечатление... Именно какая-то величавость в ней и строгость тона!

– Может быть, – сухо отвечивал Волхонский и с видом изысканной вежливости предложил гостям сигары.

Произошло неловкое молчание. Тутолмин порывисто сосал сигары и думал с досадою: «И зачем меня занесло в этот комфортабельный катух?!» А Варе было нехорошо за отца; и не то, чтобы она не соглашалась с ним, – ей даже нравилась юмористическая форма его выходок, – но отношение к этим выходкам Тутолмина смущало ее. По этому отношению она догадывалась, что отец говорит, должно быть, очень избитые и, пожалуй, даже пошлые вещи. И что вообще он, должно быть, ужасно отстал. И ей было больно это. Она даже чувствовала, как кровь приливала к ее щекам и шея нестерпимо горела под двойными городками рюша. Захар Иванович тоже был недоволен. «Испортили вечер миляге», – думал он, мельком поглядывая на сумрачную физиономию Ильи Петровича.

И вдруг Волхонский ясно увидел, что он произвел дурное впечатление. «Однако не подумал бы этот *misérable*<sup>4</sup>, что я консерватор, – опасливо шевельнулось в нем, – ведь у них, если на мужичка посмотрел косо, и пропал бесследно...» И странное ощущение какой-то холодной и неприязненной струи коснулось его.

– Но, разумеется, не в этом суть, – произнес он торопливо и мягко, – суть в том, что и с песнями, и без песен живется тяжело. А что делать? Приходится сидеть в стороне и смотреть,

---

<sup>4</sup> жалкий, презренный (*франц.*).

как безнаказанно гибнет народ с несомненной исторической ролью и как его нищенский скерб расхищается на пользу различных звездоносцев...

Варя восторгалась. «Как хорошо он это сказал, милый папка!» подумала она и с невольным торжеством поглядела на Тутолмина. Но Илья Петрович сидел по-прежнему угрюмый и с нетерпением кусал сигару. «Что же это!» – внутренне воскликнула девушка и застыла в недоумении.

А Волхонский распространился в необузданных речах. Он пылал. Он чувствовал, как упругие волны какого-то радостного восторга непрерывно подмывают его и охватывают мелким ознобом и приятно стесняют ему дыхание... «Все равно – не донесут!» – думал он иногда, отпуская чересчур резкое словечко или дерзко касаясь фактов, недоступных обсуждению. И говорил, говорил неотступно...

Илья Петрович все молчал и безучастно смотрел на дымок сигары. Но вдруг он вскочил: Алексей Борисович, покончив с критикой существующих безобразий, перешел к рецептам и жадно завздыхал о палате лордов.

– Не бывать этому! – задорно закричал Тутолмин. – Отдавать народ в руки баричей и золотушных культуртрегеров!.. Вручать его судьбы шайке космополитических хлыщей... Отравлять его вождельства фельетонными идеалами вылощенных болтунов!.. Не бывать этому, почтеннейший господин!.. Пока существует Русь, пока живы исторические стремления русского народа, пока вы его не опутали сетью ваших мероприятий жиновско-индустриального свойства, – этому не бывать!.. А следовательно, *никогда* не бывать!

– Но ты забываешь, Илья, что каждому времени – выражение своих потребностей, – вмешался Захар Иванович, несколько огорченный непочтительным обращением Тутолмина к Алексею Борисовичу.

– А! Каждому времени! – вцепился в него Тутолмин. – Так ты со своим паршивым рационализмом потребности времени представляешь?.. Врешь!.. Ты раздражение пленной мысли представляешь, а не потребности... На какого дьявола нужны все твои скоропашки и скоромолки?.. Мужик вот возьмет да вжарит ренту до чертиков – скоропилки твои и пойдут на гвозди... Да, на гвозди-то самые обыкновенные, – корявые и неуклюжие, – мужику грядущку к навознице приколачивать... И первый же вот либеральный барин, – указал он на Волхонского, – пропишет тебе отставку с твоими скоровейками и скоросейками, ибо прельстится на мужикову сумасшедшую ренту... Кому ты рассказываешь!

– Стало быть, вы науку отрицаете? Интенсивность отрицаете? – ядовито осведомился Волхонский.

– Да что он!.. – воскликнул Захар Иванович и безнадежно махнул рукою.

– Нет-с, не отрицаем, – возразил Илья Петрович, сверкая глазами, – мы только барчат отрицаем!.. А поскольку наука народу служит – поклон ей земной. Вот-с.

Но тут голоса смешались в такую кашу, что трудно было разобраться в них. И Захар Иванович кричал, и Илья-Петрович кричал, и даже Волхонский, раззадоренный неукротимостью Ильи Петровича, утратил свою комлифотность и тоже кричал. А Варя весело наблюдала за ними. Правда, она почти ничего не понимала; но она видела, что отец выходит из себя и постоянно меняет тон, то придавая ему ядовитое выражение, то переполняя его ироническим смирением; что Захар Иванович смешно краснеет и беспрерывно повторяет одни и те же доказательства и как бы вращается в каком-то заколдованном круге... И что Илья Петрович как будто разбивает своих противников, хотя излагает (или, лучше, выкрикивает) очень странные мнения. И мнения эти интересовали девушку: с одной стороны, они как будто ужасно консервативны, но с другой... с другой – либерализм отца кажется пред ними чем-то жидким и мелким. «Мелким!» – повторила Варя вполголоса. «Отчего же это? – подумала она. – Ведь все, что говорил отец в этом либеральном духе, так ей нравилось прежде! Особенно красота и благородство его выражений нравились. Почему же теперь дикие возражения Ильи Петровича

как будто вытравили всю суть из этих благородных выражений, и они как-то празднично звенят, без толку утомляя внимание. Вот фокус-то! – сказала и внутренне усмехнулась девушка. – Нет ли во мне скверных зачатков каких, – консервативных?.. Не перешло ли ко мне чего от бабушки? (Бабушка Варвары Алексеевны и до сих пор отстаивала аракчеевские порядки.) Не потому ли странные мнения Ильи Петровича привлекают меня?.. – Но тут же вслушивалась в невыразимый крик Тутолмина и задумчиво повторяла: – Нет, нет, он не консерватор!» И вдруг ей ужасно захотелось проникнуть в мир идей, волновавших Илью Петровича, узнать его убеждения, перенять от него обильные познания, которыми он так легко побивал Алексея Борисовича, а Захара Иваныча заставлял беспомощно топтаться на одном месте. «Все это, должно быть, очень оригинально», – подумала она и пристально посмотрела на Тутолмина. Растрепанный, бледный, с горящими глазами, он теперь показался ей привлекательным, и даже несчастный сюртучок его показался ей необходимым дополнением к его оригинальной наружности. Будь на нем сейчас изящный фрак от Тедески, ей это, может быть, и не понравилось бы.

Разошлись поздно. Илья Петрович, бесконечно взволнованный спором, совершенно забыл о существовании Вари, и когда она сказала ему: «Прощайте же, Илья Петрович!» – рассеянно сунул ей руку. На дворе была тишина. Звезды горели ясно. Острый холодок пахучей струйкой доносился из сада. На земле лежал легкий мороз.

– Однако ты... – с мягким упреком произнес Захар Иваныч.

– Не могу я, – угрюмо проворчал Тутолмин. В молчании вошли они к себе в комнату.

– Но согласись, что все-таки Алексей Борисович человек гуманный; а в политическом отношении все же лучше монстров каких-нибудь, – как бы извиняясь, сказал Захар Иваныч, замечая, что мрачная полоса не сходит с Тутолмина.

– На то они и монстры, – возразил тот отрывисто, но вдруг посмотрел на Захара Иваныча и рассмеялся. – А насчет либерализма я тебе вот что скажу, друг любезный. Есть у меня барыня одна знакомая. Тоже большая либералка. Та не только конституции – республики требует. Только, говорит, чтоб мужика этого противного не было.

А Варя вошла в свою комнатку и долго не раздевалась. Она стояла и смотрела в окно и думала о Тутолмине. Прозрачные тени лежали на полях. Роща недвижимо темнела. В озере сияли звезды и как будто с любопытством переглядывались с теми, которые горели в вышине. Высокий камыш задумчиво смотрел в воду. «А должно быть, он очень умный, этот Илья Петрович!» – прошептала девушка и с тихим вздохом стала расстегивать свое платье из синей французской вигони.

## V

Наутро Илья Петрович проснулся поздно. В соседней комнате нетерпеливо бушевал самовар. В окна светило солнце. Илья Петрович потянулся и посмотрел на белый потолок. Внезапная веселость овладела им. «А славно тут у них, черт возьми!» – воскликнул он и проворно вскочил с постели. Вошел вчерашний заспанный мальчик с рукомойником в руках и с полотенцем через плечо. Теперь у него вид был бойкий и живой.

– Тебя как звать, – Акимкой? – шутливо спросил его Тутолмин.

– Алистратом, – отвечал мальчик, посмеиваясь.

– Ну, Алистрат, давай мыться. – И Тутолмин стал шумно плескаться холодной водою. Затем он оделся и вышел в другую комнату. Обе комнатки были уютны и светлы. В них дышалось как-то легко: особенное чувство успокоения сходило среди этих стен, ярко выбеленных мелом.

К чаю появился Захар Иваныч, немилосердно гремя своими длинными сапогами. Вместе с ним запах какой-то славной свежести ворвался в комнату. Да и сам он был славный: розовый румянец заливал его добродушное лицо и глаза оживленно блистали. Оказалось, что он встал сегодня в три часа и до сих пор находился в поле. У него начинался сев. Новые сеялки, выписанные от Липгарта, работали великолепно. «И, представь, до чего сметлив этот русский человек, – поспешно рассказывал Захар Иваныч, – я все не догадывался: почему сеялка вдоль борозд высеивает столько-то, а поперек – больше. И что же! Нестерка, бездомовник, пропойца, лентяй, сразу открыл Америку: весь секрет-то в том, что вдоль борозд сеялка идет плавно, а поперек – порывами, а потому усиленно выталкивает семена... Простая штука, а поди ты с ней!.. Ведь все горе-то – эта закаменелость русская. Тот же Нестерка непременно на жниво уйдет от меня, и не удержать его ни за какие пряники... А куда уйдет? Паршивую ржишку убирать, да потом эту же ржишку и жрать пополам со всяким дерьмом!.. В голод, в холод уйдет!»

Илья Петрович безостановочно пил чай и тонко посмеивался в ответ на рассказы Захара Иваныча. Нервы его были как-то странно покойны. На душе было ясно и тихо. И он вспомнил о вчерашнем вечере. «Для чего кипятился?» – подумал он, и особенно противен стал ему вчерашний вечер. «Не заманут!» – промелькнуло у него. Но вместе с этим как будто и приятное чувство шевельнулось в нем. Он с удовольствием припомнил внимательное личико девушки и ее грациозную фигуру, изящно драпированную платьем, и ее пристальный взгляд, умный и блестящий...

– Вот завтра поедем-ка паровой плуг пытаться, – продолжал между тем Захар Иваныч, – по случаю куплен. Стоит две тысячи фунтов, а я за семь тысяч рублей купил. Лорд тут один в трубу вылетел. Любопытная штука. Осенью-то привезли его по заморозкам, я и не успел попытаться. А интересно. В Бельгии, у Платера, двенадцать гектаров катает. Как-то у нас?

– Да на какого лешего тебе паровой плуг?

– Ты не знаешь, брат. Я с ним ведь на все кризисы плюю. А то два года тому у крестьян случился урожай богатый – плугарей я и не нашел.

– Так, значит, урожай богатый – для вас кризис? – иронически заметил Тутолмин.

– Не придирайся ты к словам, пожалуйста.

Но Тутолмин и не придирался. Он только посмеивался себе в бороду да аккуратно опоражнивал неисчислимые стаканы с чаем. А по уходе Захара Иваныча стал разбираться со своими вещами. Из чемоданчика вылезли на свет божий и поместились на комод несколько расстрепанных книжек какого-то журнала, да толстое исследование об общине, да «Крестьяне на Руси» Беляева, да несколько программ для собирания сведений по различным отраслям народного быта. В конце концов на комодке же появилась и знакомая нам записная книга. Илья Петрович развернул ее, прочитал несколько страниц, написанных спутанным и торопливым почер-

ком, и нахмурился. Это были песни, сообщенные ему Мокеем. «Вот тебе и „Не шуми ты, мати, зелена дубравушка!“» – сказал он с горечью. И опять мелькнул перед ним образ Вари. «Ишь ты – упомнила!» – подумал он, вспоминая, как Варя заступилась за него по поводу этой песни, и снова какое-то кроткое и приятное чувство шевельнулось в нем.

К вечеру пришел Мокей и принес еще две песни. Илья Петрович аккуратно записал их и дал Мокею двугривенный. Но Мокей посмотрел на монету и сказал:

– Это что! Мы и так завсегда вашей милости... – Тут он спрятал монету в кошель. – Ты вот местечко мне поспособствуй у Захара Иваныча.

– Какое местечко?

– Да в работники, например. Я, брат, на сеялках-то отчаянный.

Илья Петрович сокрушился.

– Да у тебя что, нужда, что ли? – спросил он.

Мокей почесал затылок.

– Коли не нужда, – ответил он. – Нужда-то нуждой, а тут отсеемся я. Так и быть, послужил бы я Захар Иванычу, парень он хороший.

– Да ты бы к нему и лез, – рассердился Тутолмин. – Что ты ко мне-то? Захотел ярма и лезь сам. Я-то тут при чем?

Мокей снова и уже с большей настойчивостью почесал в затылке.

– Серчает он на меня, – произнес он.

– Кто серчает?

– Захар Иваныч.

– За что?

– А за что! Спроси! – в благородном негодовании заторопился Мокей. – Народы-то у нас очень даже приятные... У нас мастера ямы-то рыть под доброго человека... У нас, ежели не слопать кого, так праздник не в праздник!..

– Стало быть, наговоры на тебя?

– Наговоры, – кротко сказал Мокей.

Илья Петрович помолчал.

– Или перемогся бы? – наконец вымолвил он.

Мокей тряхнул волосами.

– Никак невозможно, – сказал он решительно.

– Ну к своему бы брату, мужику, нанялся. Там хоть равенство отношений. («Эку глупость я отмочил!» – подумал Тутолмин в скобках.)

– Как можно к мужику! – горячо возразил Мокей. – Мужик на работе замучает. Мужик прямо заездит тебя на работе! Нет, уж вы сделайте милость.

– Хорошо, я скажу, – печально согласился Тутолмин.

Мокей рассыпался в благодарностях.

– А что насчет песен, это уж будьте покойны, – говорил он. – Я тебе не токмо песни – чего хочешь предоставляю. Мы за этим не постоим! – И вдруг игриво добавил: – Будешь в деревню ходить – девки у нас важные.

Илья Петрович хотел было рассердиться, но вовремя опомнился и сказал:

– Нет, уж насчет девок ты оставь, Мокей, – я женатый.

– О? Не уважаешь? Ну, как хочешь. Насчет девок не хочешь – песни буду представлять. Я, брат, ходок на эти дела. Ты у кого ни спроси про Мокея, всякий тебе скажет, например. Я не то, что другие, – измигульничать не стану.

Вечером, когда приехал Захар Иваныч, Тутолмин сказал ему о желании Мокея. Захар Иваныч поморщился.

– Больно уж он неподходящ! – сказал он.

– Чем же? – спросил Илья Петрович.

– Да как тебе сказать: очень уж он привередлив. Он ведь жил у меня раза три. Надо тебе сказать, что за пищей рабочих я сам слежу, и уж что другое, а пища у меня сносная...

– Да он говорил мне об этом.

– Ну вот видишь. Говорить-то он говорил, а когда жил – у меня недели не проходило без скандала: то то ему не хорошо, то другое. То масло горчит, то в крупе гадки много, то говядина не жирна. Просто наказание! И представь себе: сейчас же собьет всех, сговорит, и скопом являются расчет просить. Помучил он меня. Ты не поверишь – я в лето три кухарки сменил, и все из-за его претензий. Вот он какой, этот Мокей.

– Да отчего же он такой требовательный?

– А бог уж его знает. Живут они плохо и дома, я уверен, мяса в глаза не видят, Я тебе говорю: окаменелость какая-то. Вот уходил он от меня: один раз ушел, – чирый на спине вскочил, – не смех ли! Другой раз – рансомовский трехлемешник ударил его рычагом по сапогу... А третий – смешно даже сказать: ночевал он в картофельной яме и вдруг говорит: «Я, говорит, не буду здесь ночевать». – «Отчего же ты не будешь?» – «Леших боюсь...» Уговаривал его, убеждал, – ничего не помогло. Так и ушёл! Вот он какой, этот Мокей.

Илья Петрович засмеялся.

– Да, действительно неудобный продукт для капиталистических манипуляций, – сказал он. – Но ты все-таки его прими. Как хочешь, а ведь в принципе-то все-таки отлично, что у Мокея этакое органическое нерасположение к ярму.

– Поди ты! – с неудовольствием произнес Захар Иваныч, но все-таки не забыл сказать явившемуся приказчику, чтобы он взял Мокея.

После чая Захар Иваныч отправился в дом. Тутолмин, разумеется, отказался сопровождать его. Он весь вечер прокопался за материалами, собранными в записной книжке. Много сведений он разнес оттуда по различным отделам. Большинство досталось общине; затем добрый кусок зацепили обычное право и раскол; этнография удовольствовалась меньшим, и наконец самую маленькую частичку получила статистика.

Захар Иваныч возвратился с новостью: Варвара Алексеевна просила Илью Петровича поехать с ней в шарабане на испытание парового плуга. Старику нездоровилось, и он оставался беседовать с Куглером. «Вот еще не было печали! – как будто с видом неудовольствия воскликнул Тутолмин, отрываясь от своих материалов. – Я и править-то не умею». Но в душе он был доволен этим предложением. И когда лег спать, несколько раз подумал о Варе. Нервы его были слегка возбуждены. Сердце беспокойно трепетало. Ночью он часто просыпался и злился на безмятежное сопение Захара Иваныча. Мерный лязг часового маятника тоже раздражал его.



## VI

Славная погода установилась на другой день. Правда, солнце не светило и небо было покрыто сплошными тучами, но теплота стояла в воздухе изумительная. От полей подымался пар. Тонкий и затхлый запах земли разлит был всюду. Даль подернулась влажностью. Неумолкаемые крики грачей мягко замирали в отдалении.

Было воскресенье, и целая толпа привалила из села поглазеть на паровой плуг. Девки в ярких платках грызли семечки; нарядные парни стояли отдельными группами и громко пересмеивались; ребяташки затевали игру в «репку», мужики сосредоточенно ходили около локомотивов. Эти локомотивы приехали на место еще вчера и теперь разводили пары. Захар Иванович озабоченно посматривал на манометр. Замазанный и шершавый кочегаришка метался как угорелый с масленкой в руках и в свободные мгновения важно озирался на мужиков. Нахмуренный машинист, в валенках и в круглой касторовой шляпе, глубокомысленно разглядывал какую-то заклепку. У другого локомотива, поместившегося на том конце опытного поля, тоже толпилась небольшая кучка зрителей.

Захару Ивановичу, очевидно, не нравилось это присутствие посторонней публики. Он не особенно надеялся на успешность опыта: локомотивы были-таки достаточно помяты жизнью, и лемеха посматривали подозрительно. А этот неуспех непременно подал бы повод к насмешкам, на которые так щедр простодушный российский мужичок. Вот и теперь уже между ними с какой-то комической неподвижностью стоит Влас Карявый и произносит ядовитые свои шуточки, на которые мужики сдержанно усмеваются. А тут как да грех легкое топливо давало мало жару и стрелка манометра подымалась с возмутительной медленностью. «Вали, вали, Николай!» – торопил Захар Иванович рабочего, подкладывающего дрова, и тот целыми охапками валил эти дрова в ненасытное жерло топки.

– Ты бы, Миколай, прямо с возом туда въезжал, – скромно заметил Влас Карявый. Толпа хихикнула. – Право бы, способней с возом... А то взял бы ворота с конюшни туда засадил... Кто ее щепкой-то растревожит, экую прорву!

– Растревожим! – невнятно проворчал явно сконфуженный Николай.

Захар Иванович отошел в сторону.

– Я бы амбарушку продал, – сказал другой, – дать бы за нее рублей тридцать, я бы и продал: все бы, глядишь, на раз хватило.

– Подавишься, – вымолвил Николай.

– Эка ты чудачина, – подхватил Карявый, – кабыть у них лесу мало. У них, чай, Редушки... Все как-никак поглощается лето-то.

– Что экой прорве Редушки!.. В Редушках всего-то никак сто десятин... А ты гляди-ка на нее!

А один дряхлый старик все смотрел и вздыхал. «Что же это будет такое?» – шептал он в каком-то ужасе и беспомощно перебирал пересмягшими своими губами. «Эй, девки! – кричали из толпы парней. – Печка-самопека приехала... Кому желательно блинцов покушать!.. А мы духом сыты...» – «Нет, это жар-птица, – возражали девки, – а вот Иван-царевич!» – и они с хохотом указывали на чумазого кочегара.

Несколько мужиков, наиболее отличавшихся солидностью, ходили около плуга и с любопытством ощупывали блестящую поверхность лемехов. Иные в задумчивости покачивали головами. А один все заходил и, прищуривая один глаз, следил за изгибом лемехов. «Вон оно как!» – наконец промолвил он и решительно нахлобучил шапку. «А что?» – спросили его. Но на это он ничего не ответил и многозначительно отошел от плуга. «Не пойдет», – заявлял другой. «Ну, как не пойти!» – возражали ему. «А вот пласт он отваливать не станет – это верно.

Ты гляди, как отвалы-то приспособлены». И все согласились, что точно пласт не будет отваливаться.

По мере того как пар бездействовал и все новые и новые охапки дров бесследно исчезали в топке, настроение народа становилось все веселее и веселее. Наряду с этим прислуга была явно обескуражена. Николай даже изъяснил наклонность к измене: стал насмехаться над печкой, так беззастенчиво пожиравшей его труды. «Эка хапуга проклятая, право хапуга!» – восклицал он. Один только Мокей не унывал (он уже очутился в усадьбе). С какой-то грязнейшей тряпкой в руках он весело сутился вокруг локомотива и беспрестанно отпускал соответствующие замечания. Так, когда близ него находился Захар Иваныч, он говорил вполголоса, видимо обращаясь к машине: «Врешь, матушка, пойдешь! Не на таковского наскочила, и не таких, как ты, объезживали...» Когда же ему случалось пробегать мимо мужиков, он корчил лукавую усмешку и произносил: «Дела не наделаем, а лупоглазой невестке глаза вставим!» И мужики сочувственно ему улыбались.

В это время подъехал и Тутолмин с Варей. Всю дорогу он испытывал приятное и неутраченное волнение. Резвый побег горячего серого жеребца, которым правила Варя, эластическое покачивание рессорного экипажа, мягкий треск колес, с изумительной быстротой попиравших почву гладкой дороги, пробитой по выгону, а пуще всего соседство красивой и возбужденной девушки – переполняли все его существо глубоким удовольствием. А Варя действительно была хороша. В своей широкой зимней шляпе, кокетливо надвинутой на глаза, в своем тяжелом плюшевом костюме, ловко обхватывавшем ее упругий и гибкий стан, она и не на Илью Петровича могла бы сделать впечатление. День – тихий и теплый, кроткое и задумчивое очертание далей, запах свежеразрытой земли, стоявший в воздухе, близость Ильи Петровича с его лицом, сосредоточенным и добрым, – все это отпечатлевалось на ее душе ясными и безмятежными полосами, и глаза ее глядели безмятежно.

Около локомотива у них приняли лошадь, и Варя подхватила Тутолмина под руку. Но тому уже не до ней было. Народный говор, оживленные толки мужиков и баб, явно недоброе отношение их к машине, смущенный вид Захара Иваныча и прислуги – все это сразу охватило его интересом. Он рассеянно выпустил руку Вари и направился к толпе. Девушка опешила, и даже горькое чувство обиды вдруг шевельнулось в ней, но обстановка и ее скоро заинтересовала. Она подхватила Захара Иваныча и стала расспрашивать его о подробностях устройства машины. Правда, она мало понимала из его толкований, но тем не менее с любопытством заглянула в огненное жерло топки, постучала пальчиком по толстому стеклу манометра, осторожно прикоснулась к ясным шарам регулятора и даже нагнулась и посмотрела на проволочный канат, плотно стянутый на колесе.

Стрелка наконец возвысилась до сорока пяти градусов. Пар вступил в золотники. Прислуга ободрилась. Народ притих в нетерпеливом ожидании. Машинист с важностью подошел к свистку и повернул кран. Хриповатый и смешной свист вылетел оттуда отрывистой нотой. Здоровенный хохот прокатился по толпе. «Захлебнулась, сердешная!» – сказал Карявый. Тогда рассерженный машинист еще раз прикоснулся к аппарату. Свисток пронзительным и тонким звуком огласил окрестность. Варя закрыла уши. Хохот усилился. «Зазевала! – вымолвил Влас. – Не зевай: надорвешься!» Парни под шумок заигрывали с девками.

А Захаром Иванычем овладевало беспокойство. Дело в том, что рабочий, который один только умел управлять плугом, не являлся. Он был занят у прежнего владельца плуга и по временам запивал. Последнего-то и боялся Захар Иваныч. Как только колесо локомотива пришло в движение и регулятор медленно закрутился, вся прислуга вместе с Захаром Иванычем устремила взоры на дорогу из усадьбы. Наконец кто-то воскликнул: «Едет Пантешка!»

Не доезжая добрых десяти сажен от толпы, Пантешка выпрыгнул из телеги и направился к плугу. Он был в красной рубаше и в картузе набекрень. Движения его были проникнуты каким-то разухабистым ухарством и лицо изъясняло беззаветную отчаянность.

– Видали наемщика! – встретил его Карявый, и толпа снова отозвалась хохотом.

И действительно, Пантешка живо напоминал собою «наемщиков» былого времени. Те же развинченные ухватки, то же удалство подозрительного пошиба. Он важно осмотрел плуг, осведомился о числе градусов на манометре и, свернув сигарку, направился к толпе.

– Что, галманы, – воскликнул он, – аль гляделки продавать пришли!

– Продашь, – ответил Карявый, – бывало, наемщиков-то под руки водили, а теперь ими плетни подпирают.

– Это кто же был наемщик-то? – подбоченясь, спросил Пантешка.

– Не мы.

– Да и мы не таковские.

– Видать.

– Мы-ста кланяться не станем. У нас и управитель покланяется! – бахвалился Пантешка.

– Как, поди, не поклонится, – простодушно возразил Карявый, – вы, поди, обхождения-то всякого видали.

– И видали.

– Вы, чай, не одно толокно, и зашейное едали.

– Да не сидели на овсянке как галманы которые...

– Где сидеть! Поди, и под заборами леживал!

– Леживали, да с голоду не пухли.

– Как тута пухнуть! Тонкого человека сразу видно.

– И видно.

– Тонкий человек и... (тут Карявый сделал неприличный намек на свойство тонкого человека).

Толпа, утаивая дыхание, следила за пререканиями Власа с Пантешкой. Иногда пробегал по ней тщетно задушаемый смех. Но последнее слово Карявого как будто прорвало плотину: оглушительный хохот вылетел из всех мужичьих грудей и долго стоял в воздухе. Обескураженный Пантешка отплюнулся и подошел к девкам. «Эй, Сашки, канашки мои!» – закричал он, бросаясь заигрывать с ними. Но его встретили руганью и оплеухами. Тогда он снова возвратился к мужикам.

– Ты как же на лопатку-то на эту цепляешься? – с притворной любознательностью спросил его Влас Карявый, указывая на сиденье плуга, торчавшее в воздухе.

Польщенный Пантешка ободрился.

– Ты эфто не так понимаешь, – предупредительно сказал он и неизвестно для чего начал врать: – Я, к примеру, сажусь и берусь за колесо. И как взялся за колесо – тут уже прямо пущают. А я сажу и гляжу. Плуга направо – я сейчас напрямик ее. Плуга налево – я опять ее напрямик. Дело, брат, хитрое!

– Чего хитрее! – подтвердил Влас с иронией.

– Рукомесло тоже, – со вздохом вымолвил дряхлый старик.

– А ты думал, не рукомесло, – живо откликнулся Пантешка, видимо стараясь заручиться расположением мужиков. – Я, брат, три лета на ней страдаю. Однаво вот руку перешибла, окаянная, повыше локтя, – он указал, – а в другой ногу искорежило, – он снова указал. – Вот оно какое рукомесло.

– Э! – с любопытством воскликнули в толпе. – Как же это тебя угораздило?

– Оченно просто, – сказал Пантешка и опять почувствовал в себе героя. – Лемех зацепился за корень за какой аль за голыш, тебя и ковырнет вверх тормашками. Я, брат, разов семь летал. Спасибо, больше все мордой отвечаешь.

– А прежде вы по какой части происходили? – спросил его Влас Карявый.

– В кучерах ездal.

– Тэ-эк. И по купцам живали?

– Живал.

– Едали хорошо?

– Здорово кормили. У нас, у купца Аксенова, от масла переслепли все!

– Тэ-эк... А с лопатки-то с эстой много ли летал? – бесхитростно осведомился Карявый, указывая на плуг.

– Семь разов.

– Ну и летать тебе, видно, до веку! – хладнокровно заключил Влас при общем хохоте предстоявших.

Пантешка обиделся и отошел.

Илья Петрович ходил посреди народа и чувствовал, как земля под ним горела. Настроение толпы глубоко радовало его. Здоровенный ее хохот, беззастенчивый и грубый юмор, свободолобивое отношение к действительности, насмешки над этим хитрым чудовищем, на славу сооруженным в Ипсвиче, – все это как нельзя более отвечало его теоретическим представлениям о народе и с особенной настойчивостью возбуждало коренные его влечения. «Что, буржуй, съел гриб!» – подсмеивался он над Захаром Ивановичем и нисколько не разозлился, когда тот, выведенный из терпения, сказал: «Э, брат, и дикари глумятся над Европою, а она все-таки пожирает их через час по ложке!»

А Варя недоумевала. Неприязненное отношение народа к машине печалило ее. В этом отношении ей чувлось дикое и упорное невежество. Она вспомнила некоторые факты из истории (за которую так еще недавно получила на выпускном экзамене высшую отметку) – Стефенсона, Везелиуса, Джордано Бруно. Вспомнила судьбу «Басурмана», которым зачитывалась в детстве. Вспомнила наконец печальную участь многих открытий и изобретений, так живо рассказанную в иллюстрированных английских волюмах... И в лице огорченного Захара Ивановича, досадливо сдвигавшего свои брови, почудился ей новый мученик за идею. Тем больше удивляло ее поведение Тутолмина. Он казался таким веселым и ясным, он так сочувственно относился к невежественным выходкам толпы, так явно радовался плохому и медленному действию локомотива, что даже возбудил гнев Вари. Никаких оправданий она не могла подобрать этому поведению Ильи Петровича, – хотя внутренне и признавалась, что желала бы видеть эти оправдания.

– Почему Илья Петрович такой странный? – спросила она Захара Ивановича. – Неужели он радуется их невежеству? – И она указала на толпу. – Но ведь это же гадко!

Захар Иванович тотчас же заступился за приятеля.

– Бог с вами, Варвара Алексеевна, – горячо сказал он. – Илья на смерть бы пошел за них и за их счастье!

– Но разве счастье в невежестве?

– Эх, долго об этом говорить! – ответил Захар Иванович, с нетерпением поглядывая на стрелку манометра, подвигавшуюся к вожделенному градусу, – да мы вряд ли и пойдем друг друга... У него, видите ли, принцип есть: все для народа, и все посредством народа... Одним словом, он почвенник. И принцип этот, кажется ему, теперь торжествует, потому что другой-то, противоположный, затемнен... Он и рад. Вот видите, я говорил, что не поймете! – добродушно добавил он, мельком взглядывая на Варю, и побежал к плугу.

Варя действительно ничего не поняла, но Тутолмин внезапно предстал перед нею в ином освещении. Снова какая-то загадочная и таинственная пелена окутала его, и снова проснулось в ней желание проникнуть в его душу и узнать мысли, руководящие странными его поступками.

Наконец колесо завертелось с невыносимым грохотом и потянуло канат. Плуг подкатился к позиции. Пантешка, засучив по локоть рукава рубашки и до невозможности сдвинув набедренный картуз, сел с видом отчаянной решимости и обеими руками ухватился за колесо рычага. Для пущей тяжести рядом с ним, на раме, поместился Мокей. Дали свисток тому локомотиву.

Толпа застыла в каменной неподвижности. На висках Захара Иваныча выступил пот. Две-три минуты прошли в немом ожидании. Вдруг цепь напряглась и плуг судорожно дрогнул. Пантешка повернул рычаг; лемеха вонзились в землю... Тонкий пласт разорвался и метнулся в сторону... И тяжелая громадина, неуклюже колыхаясь, двинулась вдоль пашни. «У-лю-лю-лю!» – закричали ребятишки, с визгом бросаясь вслед за плугом. В толпе послышались одобрителные восклицания. «Вот так долбанула!.. Гляди, гляди, ребята, выворачивает!.. Словно боров!.. Ай да окайнная!» Но вскоре это настроение снова сменилось насмешливостью. Дело в том, что лемеха действительно скверно отваливали пласт и ножи плохо подрезывали его.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.